

## ЛЮДИ, НЕ СДЕЛАВШИЕ НИЧЕГО ОСОБЕННОГО

Жаль (или — не очень? подумаем) расставаться с греющими душу легендами. Особенно с так называемыми «знаковыми», претендующими на роль опознавательного знака явления или эпохи. Тем не менее...

Одна из таких: желтая нарукавная повязка, с какой король Дании Кристиан X вышел на улицы Копенгагена, когда она была предписана датским евреям. Так вот — не было этого. Было другое.

Король, прознав (как говорят, от одного из немецких чинов, тем самым прошедшего тест на порядочность), что вот-вот приступят к «решению еврейского вопроса», в сердцах сказал кому-то из приближенных: если, мол, так, то и он наденет повязку как символ причастности к угнетаемой части подданных. Не пришлось, слава Богу. За оставшиеся до начала акции дни оповещенные о ней датчане успели перевезти на своих суденышках подавляющее большинство евреев в нейтральную Швецию.

Так что ж, вздохнем ли о затмении «датской легенды»? Тем более мне приходилось слышать в Дании о неидиллическом финале ее: после войны, когда спасенные стали возвращаться, кое-кто из спасителей, задним числом смекнув свою выгоду, потребовал возмещения за труды и за риск. Возникли даже судебные процессы.

Но кому как, а мне такой оборот дела в особенности дорог и мил. Ибо что он означает? Что спасителями оказались не избранные герои, которые, как всякое исключение, не так уж много говорят о среде, их взрастившей. Нет, люди как люди. Те, что даже своим небескорытием, проснувшись в неэкстремальный момент, доказали свою обыкновенность.

Именно это заставила вспомнить книга Инги Дойчкрон.

Она способна многое всколыхнуть в российском читателе, прежде всего имеющем опыт советской жизни. Не говорю о брос-

ких деталях вроде мебельных фургонов, в коих гестапо Вены, пришедшее на подмогу запаарившемуся берлинскому, увозило на гибель «жидов» (слишком очевидна ассоциация с нашими автофургонами «Хлеб» или «Мясо», приспособленными сталинской Лубянской для своих перевозок). Однако сама по себе ситуация: евреи, подпольно выживающие в гитлеровском Берлине, которые изнутри, но как сугубо чужое, враждебное (в то же время — как враждебное, но все-таки изнутри) видят и политическую систему, и подвластный ей быт, — не есть ли она концентрированное выражение ситуации нашей с вами? Той, в которой уже мы, по крайности многие из нас, жили столь долгое время. Нося маску лояльности к строю, цену которому знали, — лояльности хотя бы относительной, непосредственно неподсудной.

Одиннадцатилетняя девочка, кому возраст велит быть беспечной, вдруг на опыте познает, «что отсутствие реакции на опасность — это очень большой недостаток». Или — до поры не тронутые евреи, убеждающие себя — и даже гонимых собратьев! — что не надо поддаваться панике, что «должен был явиться человек, подобный Гитлеру, чтобы положить конец безработице и спасти Германию...». В общем, лес рубят — щепки летят. Узнаём ли себя, самых что ни на есть разнонациональных?

Что ж, не мною замечено: читая книгу о любых временах и любых героях, мы все равно читаем в ней про самих себя. И подробности, незнакомые нам лично (та, например, что немецким евреям «снимки для документов надлежало делать так, чтобы было видно левое ухо», — эта, безобидная с виду, подробность объяснялась расистским убеждением, будто по левому уху можно угадать семитские корни), — экзотические подробности вроде этой лишь подчеркивают общее неотменимое сходство. Как сходно, в сущности, безумие всех тоталитарных режимов.

Впрочем, это сходство не только впервые, но едва не исчерпывающе обнажено великим романом Василия Гроссмана «Жизнь и судьба». Схожая психология жертв также скрупулезно изучена — хотя бы по той простой и печальной причине, что их было слишком много. Другое дело — сходство тех (да, немногих, по крайней мере, уж никак не составляющих большинства), что в проклятые времена противостоят злу, ставшему обычаем, утвержденному законом.

Противостоят — чем? Какими такими качествами? Что заставляло «простых немецких людей», рискуя жизнью, спасти обреченных евреев?

Проще ответить, когда речь о таких, как полуслепой хозяин мастерской слепых Отто Вейдт. «Плут, игрок, авантюрист», — скажет о нем Инга Дойчкрон в другой своей книге, «Они так и остались в тени». «Борец», который «ненавидел нацистов» и был приверженцем пацифизма. Как у нас говорят, «идейный». Но вот владелица прачечной Эмма Гумц как раз из разряда «простых» — ее-то что толкнуло на опаснейший путь спасения?

Держа в голове пример с датчанами, которым я начал свое предисловие, или — еще ближе к предмету — знаменитого ныне Шиндлера, прославленного фильмом Спилберга, не предположить ли *эксперимента ради* некую невинную, однако все же корысть? Предположили — и что из того?

Пусть фрау Гумц — не в обиду ее отлетевшей тени — заполучила, спасая Ингу и ее мать, «рабочую силу» в свое прачечное заведение и заодно едва ли не даром — богатую мебель Дойчкронов. Пусть другие «простые немцы» из торгового сословия пользовались тем же, закрывая глаза на инородческое происхождение «силы», не донося, следовательно, преступая строгий закон. Пусть! В том-то и дело, что, повторю, человечность и сострадание оказывались достоянием не героев без страха и упрека, а тех самых «бюргеров», «обывателей», которых тоталитарный режим рассматривает (небезосновательно!) как свою надежнейшую опору. Или как глину, из которой он лепит нужных ему «белокурых бестий» или красных фанатиков.

Пуще того. Сам режим — ну, конечно, не беззащитен, однако же не всемогущ перед проявлениями искореняемого им «буржуазного» или «абстрактного» гуманизма. Так сам Сатана, булгаковский Воланд, помнится, сетовал, что, как ни законопачивай щели, а сострадание нет-нет да и проникнет в подвластный ему мир.

Сказать ли, что книга — даром что писана без сантиментов, даром что не обойдены ни советские «воины-освободители», пытавшиеся изнасиловать героиню-рассказчицу, ни союзники-англичане, явившие постыдное бюрократическое равнодушие к людям, спасшимся чудом (и т. д. и т. п.), — сказать ли, что она тем не менее внушает нам оптимизм? Отчего бы и не сказать — с той существенной оговоркой, что он весьма урезан сознанием: наличие добрых и совестливых людей, к несчастью, еще ни разу не смогло

потрясти основание злодейских режимов. Вообще — не печально ли, что нас (убеждаюсь, читая книгу) потрясает не зло, к коему мы притерпелись, а добро, существующее вопреки злу?

Все так. Но...

Наш Виктор Некрасов, выступая некогда над могилами Бабьего Яра, произнес великую фразу — в ответ на подлое замечание, что нечего голосить по евреям, здесь убивали людей и прочих национальностей: «Да. Однако только евреи убиты за то, что они — евреи». Но эта фраза, это продиктованное фразу сознание стоит объединить в одно целое со строчками Марины Цветаевой, которая, находясь возле пражского гетто (заметим: еще до оккупации Праги, до момента, начиная с которого само слово «гетто» станет синонимом «ада»), воскликнула: «В сём христианнейшем из миров поэты — жида!» Понимай — *тоже* изгой, но тут и само изгойство есть форма причастности.

Что делать, «хорошие люди», спасшие Ингу Дойчкрон, — в меньшинстве. Как и всякая соль земли, они многим кажутся исключением из правила, пусть благородным, но нарушением его (в точности как поэты). Нет, это они — воплощение правила. Нормы. Нормальности. И если у человечества есть надежда, то она именно в них, способных сказать, как Эмма Гумц, отвергающая благодарность спасенных ею: «Я ведь не сделала ничего особенного».

Станислав РАССАДИН

## ТЫ ЕВРЕЙКА

«Ты еврейка, — услышала я слова матери. — Ты должна доказать остальным, что из-за этого ты ничуть не хуже, чем они».

Интересно, а что это такое — еврейка? Я не стала спрашивать, поскольку все мое внимание было приковано к тому, что происходило в северо-восточной части Берлина, на Хуфеландштрассе, куда я могла смотреть из окна своей комнаты. Я любила этим заниматься, и, хотя Хуфеландштрассе, по сути, представляла собой тихий переулок, для девочки десяти лет там было много интересного. Из своего окна я смотрела, как играют другие дети. А вот мне родители запрещали играть на улице, они считали, что там маленькую девочку подстерегает слишком много опасностей. Их запрет казался мне неоправданно жестоким. Хотя я и знала по имени всех детей, которые там играют, участвовать в их играх я могла лишь на расстоянии, со своего наблюдательного поста. И это было очень грустно.

Мать постаралась растолковать мне смысл сказанного. Сегодня я уже и не припомню, как она мне это объяснила, помню только, что ничего не поняла из ее слов. Впрочем, я и позднее не стала возвращаться к этой теме и требовать от нее объяснений более вразумительных. Я смутно ощущала, что своей настырностью могу накликать всяческие беды на ее и на свою голову. В ту пору — а было начало 1933 года — меня волновали другие проблемы, которые, на мой взгляд, касались меня гораздо больше. Мне предстояло перейти в старшую ступень средней школы.

Директор Высшего Кёнигшtedского лицея, расположенного на северо-востоке города, к которому родители повели

меня, чтобы записать, был явно удивлен, когда услышал, что первые четыре года я посещала обычную светскую школу в северной части Берлина, где не было уроков Закона Божия, а само обучение велось в гораздо более свободной и современной форме, чем было принято в те времена. Поэтому он не без сарказма переспросил: «Значит, говорите, ваша дочь посещала светскую школу?» После беседы с ним мать сказала мне: «Ты должна доказать, что светская школа не только ничуть не хуже, но даже лучше, чем все остальные». И этот материнский наказ был мне куда понятнее, чем ее слова о том, что я еврейка.

Я знала, что родители у меня социалисты, и разделяла их взгляды, как любой ребенок, который растет в дружной семье. Отец у меня был функционером СДПГ и все свое свободное время — а он, как учитель, имел его предостаточно, — само собой разумеется, отдавал партии, точно так же само собой разумеелось и то, что он безоговорочно поддерживал социализм, например призыв покупать в кооперативах, вступать в группу народного попечения и т.п.

Я не только разделяла политические взгляды моих родителей, осознание своей причастности к их делу порождало во мне чувство гордости и собственного достоинства. Пусть это прозвучит странно, но из самых приятных воспоминаний детства у меня сохранились воспоминания не о путешествии во время каникул, не об обычных детских радостях, а о том, что я могла сидеть вместе со взрослыми в прокуренной задней комнате какого-нибудь трактира, могла помогать им, например, паковать листовки. Участие в так называемых символических прогулках, во время которых социал-демократы как бы случайно встречались на оживленных улицах и приветствовали друг друга кличем «свобода!», наполняло меня радостью и гордостью. Во время первомайских демонстраций в берлинском Лустгартене я чувствовала то воодушевление, которое окрыляет и наполняет силой социально активных людей.

Разумеется, от моих глаз не укрылось обострение политической борьбы в начале тридцатых годов. Эту атмосферу трудно было не почувствовать человеку, участвовавшему в политической жизни тех лет. В памяти у меня четко запечатлелись марширующие колонны: коммунисты с красными флагами, мне

нравились мелодии их духовых оркестров, рейхсбаннеровцы\* с черно-красно-золотыми флагами тоже встречались среди наших, отчего я испытывала к ним симпатию, а вот по-военному вымуштрованные колонны штурмовиков внушали мне страх. Я на всю жизнь запомнила смертельно раненного коммуниста, который, теряя сознание, из последних сил шел по улице, где произошло столкновение коммунистов и нацистов. Для меня то время было связано с газетными репортажами об уличных боях и о диспутах, которые устраивали политические противники, к примеру коммунисты и социалисты.

Кто такие были нацисты, что они делали и чего хотели, я узнала из слов отца: «Гитлер — это террор, война, диктатура!» Перед последними свободными выборами, в результате которых Гитлер пришел к власти, отец не давал себе ни сна, ни отдыха. «Берлин останется красным!» — заклинал он участников предвыборных собраний и прохожих на стихийных уличных демонстрациях. И его пыл отнюдь не уменьшился, когда один из жильцов нашего дома был ранен пулей, явно предназначенной для моего отца.

Хотя я не всегда понимала что к чему и не знала всех подробностей, я не могла не чувствовать напряжение, которым в то время были пронизаны наш дом и улица. Когда вывешенный у нас на балконе по поводу выборов в рейхстаг светящийся лозунг «Голосуйте за список № 1» закидали камнями, я интуитивно поняла, что все мы, и я в том числе, вовлечены в эту борьбу.

В тот вечер 31 марта 1933 года я не смотрела, как обычно, из окна на играющих внизу детей, потому что никак не могла сосредоточиться. Меня тревожило смутное чувство опасности. Я знала, что на завтра, то есть на 1 апреля, нацисты запланировали бойкот еврейских магазинов, иными словами, первую официальную акцию против евреев. Я то и дело поглядывала в ту сторону, где на углу Эсмархштрассе и Пастерштрассе располагалась пивная, которую нельзя было увидеть с моего наблюдательного пункта. Я знала, что наци давно уже облюбовали эту

---

\* Рейхсбаннер — боевой союз немецких социал-демократов, основанный в 1924 году. В 1933 году запрещен нацистами. (Здесь и далее примеч. переводчика.)

пивную, и невольно прислушивалась, не прозвучат ли за окном торопливые шаги отца, которому уже давно следовало быть дома. Мать тоже тревожилась. Я слышала, как она то и дело открывает дверь квартиры и пытается уловить звуки на лестничной площадке и в вестибюле, отделанном мрамором. Потом мать вернулась в комнату, оттащила меня от окна и приказала тоном куда более резким, чем обычно разговаривала со мной, поиграть в домино с Лоттой, нашей прислугой. Сама же она осталась у окна и продолжала вглядываться в темную улицу.

Итак, я сидела с Лоттой и без всякой охоты вытаскивала костяшки домино. Вдруг раздался пронзительный звонок. Мать появилась в дверном проеме и пристально посмотрела на Лотту. Та сидела неподвижно. В это мгновение наш страх начал приобретать четкие формы и заполнил комнату. И тут мать сказала с удивительным самообладанием: «Так откройте же». Лотта поплелась к дверям. Едва услышав голос одного из наших друзей, мать выскочила в переднюю и увлекла посетителя за собой в другую комнату. Я лишь разобрала его слова: «Вашему мужу надо немедленно скрыться».

Этот человек провел у нас от силы несколько минут. Потом я увидела, что и мать тоже куда-то собирается. От страха у меня перехватило дыхание. Однако я ни о чем не стала ее спрашивать. Было такое впечатление, что она меня вообще не видит. Мать спокойно объяснила, что отец, вероятно, задержался на приеме экзаменов. И что она скоро вернется. Не сказав больше ни слова, она затворила за собой дверь. Лотта лишь безмолвно кивнула в ответ. Ей было никак не больше восемнадцати лет. И не знаю, кто из нас обеих тогда больше боялся. Мы снова принялись играть в домино, но совершенно не могли сосредоточиться. Ловили каждый шорох на лестнице и с ужасом переглядывались, когда за дверью раздавались чужие шаги.

Уж и не помню, сколько мы так просидели. Знаю только, что, когда мать вернулась домой, стояла глубокая ночь. И опять, рассказывая, что отец сегодня заночует у наших друзей, она выглядела вполне спокойно. Почему отец заночует у них, она объяснять не стала, и я поняла, что лучше ни о чем не спрашивать. Без обычных пререканий я согласилась лечь в постель. Но, уже лежа, слышала, как она говорит нашей прислуге: «Доктора Островски арестовали, господина Вебера тоже. Никто не



знает, что будет дальше. Я уложу чемодан с самыми необходимыми вещами. Нам всем лучше переночевать завтра в другом месте».

Тогда впервые арестовали двух человек из ближайшего окружения моих родителей, да и над моим отцом явно нависла угроза. Человек, который приходил к нам, сказал матери: «Наци сегодня весь вечер указывают на ваш дом». Ведь и мы, и наши политические взгляды были известны всей округе.

«Аресты» — это слово я часто слышала и читала в последнее время, но оно оставалось для меня абстрактным понятием. В тот вечер оно обратилось в пугающую реальность. Тогда деятельность нацистов была в первую очередь направлена против их политических противников и лишь во вторую — против евреев. А большинство берлинских евреев политикой не интересовалось. Немногочисленные еврейские друзья моего отца, оставшиеся у него со студенческих времен, не понимали его политической активности и относились к ней с презрением. Порой они даже говорили, что только Гитлер способен навести порядок в хаосе Веймарской республики. Аресты же, происходившие в те дни, они называли «перегибами».

Ночь на 1 апреля прошла спокойно. Утром отец вернулся домой. Я не заметила в нем ничего необычного. Выглядел он довольно веселым и не без юмора рассказал, как отец одной из его учениц, радуясь, что дочь сдала выпускной экзамен и узнав о тревогах моих родителей, предложил моему отцу переночевать у него. Это был врач-еврей, совершенно чуждый политике, и он предоставил в распоряжение отца свой кабинет. Мы от души смеялись, слушая рассказ отца о том, каково ему было спать на медицинской кушетке в окружении инструментария и в обществе скелета, отбрасывавшего причудливые тени. То, что грозно вырисовывалось на нашем горизонте, нам все еще казалось случайным, нереальным, даже забавным. И никто из нас не догадывался, что настанет день, когда мы будем от всей души благодарны за такой приют.

За окном «спокойно твердым шагом» маршировали они. Они же демонстративно, в клочья разорвали на нашей улице черно-красно-золотое знамя Веймарской республики. Другие несли плакаты с призывами: «Немцы! Не покупайте у евреев! Мировое еврейство хочет уничтожить Германию! Немецкий

народ! Защищайся!» Все это я видела из окна своей комнаты. На улицу мы в тот день не выходили. У родителей были дела поважнее. Дверцы обоих массивных книжных шкафов в так называемой хозяйской комнате были распахнуты настежь. На большом черном письменном столе, где обычно отец проверял ученические тетради, в диком беспорядке громоздились брошюры, бумаги и книги. Мать беспощадно прореживала ряды книг, а отец с беспомощным и несчастным видом стоял рядом. Книги считались у моих родителей священным достоянием. Первым предметом, который они купили после свадьбы, была книга. Труды политических классиков, таких, например, как Маркс и Энгельс, на сей раз родители пощадили. Только переставили на другое место, где они не сразу бросались в глаза. Тогда отец и мать еще верили, что эти труды и изложенное в них учение нельзя вот так просто взять и отменить. Важнее было убрать брошюры с боевым, политическим содержанием, которые призывали бороться против национал-социализма. Из-за каждого памфлета между родителями завязывалась легкая перебранка. Когда отец брал в руки очередную, обреченную на уничтожение книжку, еще раз перелистывал ее и неуверенно спрашивал: «Ты думаешь, это нужно?» — мать, которая из них двоих была более решительной и обладала более тонким чутьем на всякого рода опасности, могла ответить ему довольно резко.

Время от времени в комнате появлялась Лотта с огромной бельевой корзиной, чтобы покидать туда все, отобранное матерью. Книги и труды, прежде столь бережно хранимые, Лотта подхватывала безо всякого почтения и бросала в свою корзину. После того как родители, завершив радикальную проверку книжных шкафов, подвергли столь же безжалостной ревизии содержимое письменного стола, на что у них ушло несколько часов, Лотте надлежало позаботиться об уничтожении книг и рукописей. Сделать это в подвальной прачечной нашего дома было бы легче легкого, но наверняка могло вызвать подозрения у вахтерши и соседей.

Той ночью недоверчивость навсегда вошла в нашу жизнь. Мы не знали, какого образа мыслей придерживаются наши соседи. Если не считать беглого приветствия при встречах на лестнице, других отношений между нами не было. Так могли ли